
Лара Вейн
Живой экспонат
МУЗЕЙ
ХРУПКОЕ
ХРУПКОЕ

Лара Вейн

# Живой экспонат

«Автор»
2026

**Вейн Л.**

Живой экспонат / Л. Вейн — «Автор», 2026

Кунсткамеру закрывают на ремонт, экспонаты увозят, а шестипалый кот остаётся сторожить пустой музей. Он живёт здесь с 1718 года, когда его принесли по указу Петра. С людьми кот не разговаривает: прячет скотч у грузчиков, пугает сторожей и вредных гостей, а хорошим людям тихо помогает. И, обходя опустевшие залы, вспоминает триста лет истории Петербурга.

© Вейн Л., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Пролог. Обход 5
Глава 1. Собрание 7
Глава 2. Палка 10
Глава 3. Жора 13
Глава 4. Проверка 16
Глава 5. Серёжка 19
Конец ознакомительного фрагмента. 20

# Живой экспонат

## Пролог. Обход

Два часа ночи. Время обхода.

Не сторожа. Моего. Сторож обходит музей в два и в шесть, это у него по инструкции, а у меня по инструкции — всегда. Моя инструкция короче: всё должно стоять на месте, никто не должен трогать то, что трогать нельзя, и никто не должен спать на посту, кроме меня.

Я начинаю с анатомического зала. Всегда с него. Сажусь на пол перед шкафом, на вторую полку снизу смотрю — там в толстой банке с притёртой крышкой лежит котёнок. Светлый, почти белый от спирта, хотя родился тёмным, как я. Лапы растопырены. На каждой передней — по шесть пальцев.

Это мой брат. Мы родились в одном гнезде. Ему досталась банка, а мне — всё остальное. Я до сих пор не знаю, кому повезло больше.

— Гм, — говорю я ему.

Это всё, что я говорю. Вообще. Кому угодно.

Я не мяукаю. Не потому, что не умею, а потому, что не вижу смысла. Мяуканье придумали кошки для людей, это я понял лет двести назад: друг с другом коты почти не мяукают, им хватает взгляда и хвоста. А с людьми я не разговариваю. Люди не умеют слушать котов, коты не обязаны их учить. У нас с людьми договор: они меня кормят и не мешают, я ловлю мышей и не мешаю им. Почти.

А «гм» — это не разговор. Это мнение. Я его перенял у профессоров. Когда профессору что-нибудь не нравится, но он слишком воспитан, чтобы сказать «чепуха», он говорит «гм». Я слушал это «гм» почти триста лет и научился произносить его не хуже. Сотрудники смеются: «Барсук опять хмыкает». Пусть смеются. Значит, поняли.

Ну вот. Брат на месте.

Теперь — по кругу. Младенцы Рюйша в кружевных воротничках, все шесть, целы. Двухголовый телёнок на шкафу, на котором я обычно сижу, цел, обе головы смотрят куда положено: одна в зал, другая в окно. Ягнёнок. Поросёнок с хоботом. Змеи. Ящерица, которую переложили в новую банку в тысяча восемьсот девяносто втором году, когда старая треснула от визга одной гимназистки. Гимназистка, к слову, тоже была цела, хотя я тогда стоял за неё горой.

Дальше — коридор, зал Японии, зал Индии, Африка, Америка. Самураи стоят. Маски висят. Индеец у костра сидит, костёр у него из красной тряпки с лампочкой, лампочка выключена. Всё как всегда.

Я проверяю это каждую ночь с тысяча семьсот двадцать восьмого года, когда меня привезли в это здание. Раньше были другие залы и другие вещи, а дело было то же.

Вы спросите, сколько мне лет.

Много. Я родился в апреле тысяча семьсот восемнадцатого года на Охте, у кошки плотника Степана Носова. Серой с белым, самой обыкновенной, дворовой. Таких на Охте было по три на каждый забор.

Только моя мать была немая.

Я понял это не сразу: котята вообще мало что понимают, у них глаза закрыты первые дни. Но я помню её тепло, её язык, которым она вылизывала нам уши, её бок, который поднимался и опускался. И я помню тишину. Другие кошки в слободе орали весной на крышах так, что плотники кидались в них поленьями. Другие кошки звали котят, шипели на собак, ругались через забор. А моя мать — никогда. Ни мяу, ни шипения, ни мурлыканья. Она смотрела. И этого хватало.

Когда Степан положил нас с братом в лукошко и понёс к перевозу, она бежала за ним до самой воды. Молча. Я не видел — глаза ещё не открылись, — но я знаю: если бы она кричала, я бы запомнил её голос. А голоса я не помню. Значит, бежала молча.

Наверное, поэтому я и сам такой. Немногословный. Яблочко от яблони, как говорил потом один служитель, глядя на меня и на банку с братом. Хотя брат — это скорее яблочко в компоте.

Гм. Простите. Это семейный юмор.

Сейчас на дворе октябрь две тысячи тридцатого года. Мне триста двенадцать лет. Я не знаю, почему не умер. Сначала думал, что это от спирта, которым здесь пахнет всё. Потом — что от глобуса, в котором я сплю. Потом перестал думать: если долго думать о том, почему живёшь, можно забыть жить. А у меня много дел.

У меня — музей.

Нет, по документам он, конечно, не мой. По документам он Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, но так его зовут только на табличке и в бухгалтерии. Все остальные говорят — Кунсткамера. А я говорю — дом.

Я видел, как его строили. Видел, как он горел. Видел, как его заливала Нева, как его морозила блокада, как ему вставляли выбитые стёкла и отмывали фасад к юбилеям. Я видел здесь государя, который его придумал, Ломоносова, который здесь работал, Эйлера, который считал звёзды, и тридцать с лишним директоров, которые приходили и уходили, а я оставался.

И я видел посетителей. Миллионы. Хороших и плохих.

С хорошими у меня всё просто: я им помогаю. Тихо, чтобы не заметили. Нашёл потерянную варежку — положил на видное место. Ребёнок потерялся — сел у двери, за которой мама, и сижу, пока он не подойдёт погладить и не увидит маму. Хранительница уронила под шкаф ключ — к утру ключ лежит у неё на столе. Никто не знает, как. Пусть думают на уборщицу.

С плохими тоже просто. Плохим — я устраиваю.

Без членовредительства. Я не зверь. Ну, зверь, конечно, но воспитанный. Я не царапаю, не кусаю, не порчу одежду. Я просто бросаюсь под ноги в темноте. Или сажусь на шляпу. Или хмыкаю за спиной в пустом зале, когда человек уверен, что он один. Или ем бутерброд, который положили на витрину с древними ножами, — потому что нечего класть бутерброды на витрины.

У меня есть чёрный список. Он в голове, но очень длинный, лет на триста.

Ну вот. Обход закончен. Всё на месте.

Я поднимаюсь в башню. Сто двенадцать ступенек. На пятом этаже — круглый зал, и в нём стоит глобус: медный шар в три с лишним метра, снаружи Земля, внутри — небо. Внизу у него, рядом с большой дверью для людей, есть маленькая дверца с медной петлёй. Её для меня сделал один шотландец в тысяча семьсот пятьдесят первом году. Я толкаю её головой. Петля блестит: я натёр её за двести восемьдесят лет.

Внутри темно, пахнет медью. Я ложусь на скамью и смотрю вверх. Медведица на месте. Полярная звезда на месте.

Значит, можно спать.

Я ещё не знаю, что через неделю мне скажут: всё это увезут.

Утром узнаю. А пока — спать.

Гм.

# Глава 1. Собрание

Собрания у нас проводят в круглом зале под башней. Там длинный стол, сорок стульев и портрет государя в золотой раме, на которого все косятся, когда говорят про бюджет. Я сижу на подоконнике. Я всегда сижу на подоконнике на собраниях: оттуда видно всех, а меня никто не просит выйти. Один раз, в шестидесятых, попросили — один заместитель директора по хозяйственной части, бывший военный. Через неделю он нашёл у себя в фуражке дохлую мышь. Больше меня не просили.

В то утро собрались все. Даже уборщицы. Даже бухгалтер Нина Фёдоровна, которая на собрания не ходит из принципа, потому что «всё равно потом всё переврут». Даже Жора — новый ночной сторож, который должен был спать после смены, но пришёл, жуя пирожок, и сел в последний ряд, вытянув ноги в проход.

Я его отметил. Пирожок в зале, ноги в проходе. Пока — карандашом.

Директор встал, откашлялся и сказал, что разговор будет серьёзный.

Когда директор говорит «серьёзный», это значит одно из двух: или денег не дадут, или дадут, но лучше бы не давали. Я этих директоров видел тридцать с лишним. Интонация у них одинаковая, меняются только галстуки.

На этот раз дали.

Директор сказал, что здание наконец признали аварийным — то есть признали то, что все и так знали. Крыша течёт. Перекрытия на третьем этаже прогибаются. Проводка такая, что пожарный инспектор каждый год крестится, хотя по должности ему не положено. И на всё это выделены деньги — на большую реконструкцию.

Все захлопали. Осторожно: никто не любит радоваться заранее.

А потом директор сказал главное. Музей закрывается через неделю. Всё, что внутри, нужно вывезти. Всё до последней витрины. В новое хранилище на окраине, которое строили пять лет и наконец достроили. Там будет климат, охрана и стеллажи до потолка. А здесь будут рабочие, леса, пыль и отбойные молотки.

— А надолго? — спросила Оля. Это молодая сотрудница с колечком в носу, которая кормит меня сухими шариками из пакета. Шарики пахнут рыбой и опилками одновременно. Я их ем из вежливости.

Директор развёл руками.

— Сроки уточняются, — сказал он.

Тут все замолчали, потому что каждый в этом зале знал, что значит «сроки уточняются». Это значит — года три. Или пять. Или никто не знает. В тысяча семьсот сорок седьмом году, после пожара, башню обещали восстановить за год, а восстанавливали четыре. При мне. Я ждал.

— А Барсук? — спросила Оля.

И все посмотрели на подоконник.

Я сидел и смотрел на них. Как обычно. Лапы подобраны, хвост вокруг лап. Шесть пальцев на каждой передней — видно, если знать, куда смотреть.

— А что Барсук, — сказал заместитель по хозяйственной части. Новый. Фуражки у него нет, и это его спасает. — Пристроим. Кто-нибудь возьмёт. Он же старый уже, наверное. Лет пятнадцать?

Я хмыкнул.

— Гм.

Несколько человек засмеялись. Главный хранитель Сергей Аркадьевич, который сидел у окна ближе всех ко мне, посмотрел на меня поверх очков. Очки у него на цепочке, борода седая, и смотрит он всегда так, будто проверяет, правильно ли ты пронумерован.

— Он не согласен, — сказал Сергей Аркадьевич.

Все опять засмеялись. А он не засмеялся.

Потом стали говорить про графики, про грузовики, про то, что первыми повезут фонды из подвала, потом — залы, потом — анатомию, потому что банки самое сложное, их нельзя трясти. Я слушал вполуха. Я уже всё решил.

Никуда я не поеду.

И ничего отсюда не поедет.

Это мой дом. Я его триста лет охраняю. Я его не отдавал ни огню, ни воде, ни голоду, ни немцам, и не собираюсь отдавать какой-то фирме с грузовиками. Банки — мои. Брат — мой. Глобус — мой. Самураи, индейцы, маски, телёнок, младенцы, мамонтов зуб, который лежит в зале Сибири и про который все забыли, — моё. Я их всех считал по ночам триста лет. Каждую ночь.

А если их увезут, кого я буду считать?

Гм.

Собрание кончилось. Люди расходились, разговаривали тише обычного. Жора на выходе потянулся, зевнул, бросил бумажку от пирожка на подоконник рядом со мной и сказал:

— Ну что, кошара, пойдёшь на улицу? Там тебе самое место.

Бумажку я не тронул. Я её запомнил. Карандаш стал ручкой.

Когда все ушли, я остался на подоконнике и стал смотреть на Неву. Она была серая, октябрьская, с белыми барашками. За ней — Адмиралтейство, дворец, а правее, через реку, — крепость с ангелом на шпиле. Когда я родился, ничего этого почти не было. Был лес, болото и одна большая стройка.

И была Охта.

Я её не помню глазами. Глаза у котят открываются дней через десять, а меня унесли как раз на десятый день. Я помню её носом и боком.

Изба Степана Носова стояла на самом берегу, у реки. Степан был плотник с верфи, из тех, кого государь пригнал строить корабли со всей страны. Мужик хозяйственный, неграмотный, бородатый, пахнущий смолой и стружкой. Это я знаю точно: запах смолы для меня до сих пор — запах первого дома. Когда весной в музее открывают окна и с набережной тянет смолёными канатами от прогулочных катеров, я на секунду снова становлюсь слепым котёнком под лавкой.

Нас было пятеро. Мать родила нас под лавкой, в старой Степановой шапке. Трое — нормальные. А двое — я и брат — с лишним пальцем на каждой передней лапе. Шестым, сбоку, как большой палец у человека.

Мать вылизывала всех одинаково. Ей было всё равно, сколько у кого пальцев. Она лежала на боку, и мы висели на ней, как бусы. Она была тёплая и большая. И она молчала.

Я потом, когда вырос, встречал много кошек. Служительских, приблудных, казанских, ярославских. Все они говорили. Мяукали, урчали, шипели, ругались. Кошка не может не говорить: это у неё в крови, как охота. А моя мать — молчала. Совсем. Ни разу.

Может быть, она была больна от рождения. Может быть, её в котёнках напугали так, что голос пропал. Я не знаю. Мне некого спросить.

Но я думаю — она и не нуждалась в голосе. Она нас вылизывала, кормила, грела. Когда кто-нибудь отползал от бока, она подтягивала его лапой обратно. Без звука. Когда в избу заходила собака, она просто вставала — и собака уходила. Тоже без звука.

Я так и не научился мяукать. Не у кого было.

А на десятый день в избу пришла новость.

Новость пришла через сход. На Охте раз в неделю собирали плотников у церкви и читали указы: про жалованье, про пожары, про то, что нельзя рубить лес без спросу. И в тот раз прочитали новый. Государев. Про монстров.

Про то, что если у кого родится урод — человек, скотина или птица, — его не топить, не прятать, а нести к начальству. И что за это заплатят из казны. За живого урода скотского — до пятнадцати рублей.

Корова тогда стоила рубля два.

Степан пришёл со схода, сел на лавку и долго смотрел под неё. На шапку. На нас. Потом достал одного из нас, потом другого. Посчитал пальцы. Посчитал ещё раз. Я этого не помню — мне потом рассказали. Но я хорошо представляю, как это было: большая шершавая ладонь, запах смолы, и где-то рядом — молчащая мать, которая смотрит.

Потом Степан надел чистую рубаху.

Это я тоже знаю: про рубаху мне рассказали отдельно, и я долго не понимал, зачем это важно. А потом понял. Он шёл к начальству. Он шёл в город, к государевым палатам. Он хотел выглядеть прилично. Ради двух слепых котят он надел чистую рубаху.

Он положил нас в лукошко, укрыл тряпкой и пошёл к перевозу.

А мать побежала за ним.

Молча.

До самой воды.

И когда лодка отошла от берега, она, наверное, стояла у кромки и смотрела. Я этого не видел. Но я в это верю, потому что я сам, когда что-то уходит от меня по воде, иду до самого края и смотрю. Молча.

Это у меня от неё.

Ладно.

Через неделю закрываемся.

Посмотрим, кто кого.

# Глава 2. Палка

Когда в городе узнают, что музей закрывается, в музей приходят все.

Это закон. Я его проверял несколько раз. Люди годами ходят мимо, говорят «надо бы сводить детей в Кунсткамеру», «надо бы как-нибудь», «ну это ж всегда тут стоит, успеем». А потом в новостях пишут «закрывается на неопределённый срок» — и у входа очередь до Дворцового моста.

В ту неделю очередь стояла с утра до вечера. Смотрительницы ходили с красными глазами — не от слёз, от недосыпа. Уборщица тётя Света выносила по три мешка фантиков в день. В анатомическом зале было не протолкнуться.

Я сидел на шкафу над телёнком и считал.

Не людей. Людей считать бесполезно. Я считал, кто как смотрит.

Хорошие смотрят на банку и молчат. Иногда долго. Иногда шепчут: «бедный». Иногда спрашивают у соседа: «а почему так бывает?» Таких я замечаю и стараюсь, чтобы им было видно. Если ребёнку не видно из-за спин — я спрыгиваю со шкафа прямо в толпу, и толпа расступается, потому что кот, и в образовавшуюся дыру как раз проходит ребёнок. Ловкость лап, никакого мошенничества.

Плохие смотрят на банку через телефон. Или вообще не смотрят, а смотрят на себя на фоне банки. Таких я тоже замечаю.

В тот день была одна — в белом пальто и с палкой.

Палка — это такая штука, на которую цепляют телефон, чтобы снимать себя издалека. Её придумали лет двадцать назад, и с тех пор в музеях стало больше битых витрин и меньше смысла. Белое пальто вошло в анатомический с палкой наперевес, как гренадер со штыком. Сразу — к младенцам Рюйша. Отпихнула локтем мальчишку лет восьми, который стоял у самого стекла. Отпихнула его бабушку. Встала спиной к витрине, вытянула палку и скорчила лицо.

— Фу, ну и мерзость, — сказала она в телефон. — Девочки, смотрите, где я. Тут уродцы в банках. Кто вообще на это ходит смотреть?

И постучала палкой по стеклу.

По стеклу витрины Рюйша.

Этим младенцам триста лет. Голландский старик сшил им кружевные воротнички, чтобы людям было не страшно на них смотреть. Их не тронули ни в пожар, ни в блокаду. А она — палкой.

Гм.

Я спустился со шкафа. Тихо. Мимо ног, под витриной, вдоль стены. В анатомическом зале у окна есть тёмный угол — там лампа не достаёт, и туда никто не смотрит. Я сел в угол и стал ждать.

Белое пальто наснимало себя у младенцев, у телёнка, у поросёнка с хоботом. Потом двинулось к выходу — прямо мимо моего угла. Глядя в телефон. Палка — на плече.

Я вышел из угла ровно в тот момент, когда её левая нога поднялась.

Бросок под ноги — это искусство. Плохой кот бросается куда попало и получает пинка. Хороший — выбирает момент, когда нога в воздухе и человек ещё не решил, куда её поставить. Тогда человек видит под собой что-то тёмное и живое, и всё его тело само, без спроса у головы, решает, что ставить ногу туда нельзя. Он подпрыгивает. Он машет руками. Он кричит. А кот уже под соседней витриной.

Белое пальто закричало так, что в зале Японии обернулись самураи. Ну, если бы могли.

Палка улетела. Описала дугу над головами и звонко шлёпнулась на пол, а телефон отцепился и уехал по мрамору под шкаф с черепами. Глубоко. К самой стене.

Я сидел под соседней витриной и смотрел.

Белое пальто полезло под шкаф. На четвереньках. В белом пальто. Под шкаф, где тётя Света моет раз в неделю, а пыль там триста лет. Посетители стали оборачиваться. Кто-то хихикнул. Мальчишка, которого она отпихнула, стоял теперь у самого стекла витрины Рюйша, и бабушка гладила его по голове, и они смотрели на младенцев. Молча.

Хорошо.

Телефон достала смотрительница. Длинной шваброй. Подала белому пальто, которое было уже не очень белым, а скорее серым в полоску. Пальто выхватило телефон, ничего не сказало и ушло, оглядываясь.

На меня никто не подумал. Кот как кот. Сидит, умывается.

Смотрительница, Вера Павловна, посмотрела на меня. Долго. Она у нас двадцать лет работает и кое-что подозревает.

— Ну ты, Барсук, — сказала она тихо. И улыбнулась. Совсем чуть-чуть.

Гм.

Я ушёл на свой шкаф и сел над телёнком.

Вечером, когда зал опустел, я спустился к брату. Мне захотелось рассказать ему про палку. Он бы оценил. Хотя кто его знает: мы с ним виделись всего десять дней, пока были живыми оба, и у нас не было времени узнать друг друга.

Эти десять дней кончились в лодке.

Я лежал в лукошке, прижавшись к брату, и лукошко качалось, и пахло водой — сырой, холодной, апрельской. Было слышно, как Степан дышит и как плещут вёсла перевозчика. Брат не шевелился. Он вообще был слабее: молока ему меньше доставалось, я его отталкивал. Это я сейчас понимаю, что отталкивал. Тогда я просто хотел есть.

Потом лукошко перестало качаться, и пошли шаги — долгие, по деревянным мосткам, потом по земле. Потом — запах. Новый. Такого на Охте не было. Острый, режущий, от которого сразу заслезились нераскрытые глаза.

Спирт.

Это были Кикины палаты. Каменный дом у Смольного двора, на другом конце нынешнего города. Хозяина их, Кикина, той весной казнили по делу царевича Алексея, дом отписали в казну, и государь велел свозить туда свои редкости, пока для них строят новое здание. То есть вот это. Где я сейчас сижу.

Степан поставил лукошко на стол перед копиистом.

Копиист был молодой, худой, в парике не по размеру. Звали его Пантелей Сутугин. Нос у него был красный, глаза слезились: у него было что-то вроде насморка от кошек. Он вообще не любил ничего живого. Мёртвое он любил: оно не линяет и лежит смирно.

— Вот, по указу, — сказал Степан. — Монстры кошачьи. О шести перстах. Живые. Два.

Пантелей заглянул в лукошко и чихнул.

Дальше они спорили. Это мне потом много раз пересказывали — служитель Ефим, который стоял у двери с метлой и слушал, рассказывал эту историю всем, кто соглашался слушать, лет сорок подряд. Я лежал у него на коленях и слушал тоже. Так что я знаю её наизусть.

Пантелей сказал, что живые кошки государевой Кунсткамере без надобности. Их кормить надо. И что пятнадцать рублей за кошку — грабёж казны.

Степан сказал, что указ есть указ.

Пантелей сказал, что в указе про кошек ничего не сказано. Сказано — «скотина».

Степан сказал, что кошка — скотина.

Пантелей сказал, что кошка — тварь бесполезная.

Степан сказал, что у него в избе мыши ведро зерна за зиму съели, пока кошки не было, а как кошка завелась — ни одной, так что пускай господин копиист сам решает, кто тут бесполезный.

Ефим у двери, по его словам, засмеялся в метлу.

Спорили полчаса. Кончилось тем, что Пантелей заплатил. Не по пятнадцать, а по семь рублей. Как за птицу. Степан поворчал, но взял: четырнадцать рублей — тоже деньги, на них, говорят, он потом срубил себе новую баню.

Значит, я стоил семь рублей. Три с половиной коровы. Ни один кот на свете до меня столько не стоил. Я этим до сих пор горжусь, хотя понимаю, что гордиться тут, в общем, нечем.

Степан ушёл. Я его больше никогда не видел. Не знаю, вернулся ли он к матери и что ей сказал. Наверное, ничего. Кошкам ничего не говорят.

А Пантелей, вытирая нос, сказал Ефиму:

— Отнеси в лабораторию. Пусть положат в спирт. Обоих. Живых держать не будем.

И Ефим взял лукошко.

Гм.

Я посидел у брата ещё немного. Потом пошёл проверять зал Японии: после белого пальто мне всё казалось, что кто-то ещё может постучать по стеклу. Но там было тихо. Самураи стояли.

Ещё шесть дней, подумал я.

Посмотрим.

# Глава 3. Жора

Сторожей у нас два. Василий Андреевич и Жора. Они меняются: сутки через двое, а на последней неделе, когда всё стало суматошно, — через ночь.

Василий Андреевич работает двенадцать лет. Ему шестьдесят восемь, у него колено, у него маленький телевизор в сторожке, на котором каждую ночь идёт одно и то же кино про войну, и у него в холодильнике всегда лежит «докторская» колбаса. Он режет её толсто и зовёт меня Хозяином. Он засыпает на посту примерно к половине третьего, но это не его вина — это колено и возраст. В два он обходит нижний этаж, а в шесть — все залы, и ни разу за двенадцать лет не пропустил.

Василий Андреевич у меня в другом списке. В белом.

Жора работает три месяца. Ему тридцать один. Он высокий, в кожаной куртке, с маленькой бородкой и большим телефоном. Телефон у него всегда в руке, даже когда он ест. А ест он всегда. Пирожки, чипсы, шаурму. В залах. На витринах. Я сам видел, как он поставил стакан с кофе на витрину с японскими мечами — прямо над клинком шестнадцатого века. Стакан оставил кольцо на стекле. Кольцо тётя Света оттирала утром десять минут и ругалась так, что даже я покраснел под шерстью.

А в первую же неделю, когда я вышел к нему на обходе — посмотреть, что за новый человек, — Жора сказал «брысь» и махнул ногой.

Не попал. Я триста лет уворачиваюсь от ног. Но — махнул.

С того дня Жора у меня в чёрном списке. Красными чернилами.

У Жоры есть канал. В интернете. Я плохо понимаю, что это такое, но понимаю главное: Жора снимает себя на телефон, а потом другие люди это смотрят. Много людей. Жора снимает «страшные истории»: он ходит ночью по музею с фонарём и рассказывает, какие тут ужасы. Что в банках шевелятся. Что по ночам слышны шаги государя. Что смотрительница, которая умерла в блокаду, бродит по залам.

Про смотрительницу — это он зря. Она не бродит. Она умерла у витрины, проверяя номера, и я сидел с ней до утра. Она не стала бы бродить. Ей было некогда.

Гм.

В ту ночь Жора решил снять «прощальный выпуск». Последняя неделя, музей закрывается, «я проведу ночь один среди мертвецов». Он так и сказал в телефон, стоя в анатомическом зале с фонарём под подбородком, чтобы лицо было зловещее. Лицо было не зловещее. Оно было такое, будто у человека болит зуб.

— Я тут один, — сказал Жора телефону. — Совсем один. Вокруг — тьма. Мне не страшно. Я вообще ничего не боюсь. Сейчас я вам покажу самое жуткое место...

И пошёл к шкафу с братом.

Я сидел на шкафу над телёнком. В темноте. Он меня не видел.

Жора подошёл к витрине. Посветил на брата. Брат лежал, как лежит триста двенадцать лет, — тихо, растопырив лапы. Жора скорчил рожу:

— А вот это — кот-мутант. Ему отрезали лишние лапы и законсервировали. Говорят, по ночам он скребётся изнутри...

Отрезали лапы.

Скребётся.

Мой брат.

Гм, — подумал я. Вслух — пока нет.

Я знаю этот шкаф лучше, чем Жора — свою куртку. Верхняя дверца у него, если надавить на угол, открывается сама. Медленно. С таким скрипом, будто кто-то тянет её изнутри. Петля там старая, ещё дореволюционная, её никто не смазывал с тысяча девятьсот двенадцатого года,

потому что смазывать — значит снимать стекло, а снимать стекло — значит писать бумагу, а бумагу писать никто не любит.

Шесть пальцев — удобная вещь. Я надавил.

Дверца пошла.

И-и-и-и-и...

Жора замолчал на полуслове. Фонарь дёрнулся вверх. Луч заплясал по банкам — ящерицы, змеи, младенцы, — и остановился на открывающейся дверце. А за дверцей — темнота. И в темноте — два жёлтых глаза.

Мои.

Я посмотрел на Жору сверху. Медленно. Как смотрят на человека, который только что назвал твоего брата мутантом.

И сказал:

— Гм.

Низко. Хрипло. Отчётливо. Я триста лет тренировался.

Жора закричал так, что, говорят, Василий Андреевич в сторожке проснулся, хотя был выходной и Василия Андреевича в сторожке не было. Фонарь улетел под витрину. Телефон — нет: телефон Жора держал крепко, как утопающий. Он кричал, пятился, налетел спиной на шкаф с черепами, черепа брякнули, он закричал снова, развернулся и побежал. По коридору. По лестнице. Вниз. До самой сторожки.

А телефон, между прочим, всё это время снимал.

Я спустился со шкафа, закрыл лапой дверцу, проверил брата — на месте — и пошёл на обход.

Утром Оля пришла на работу и долго хихикала в телефон у себя в кабинете. Потом показала другой сотруднице. Потом третьей. К обеду весь музей знал, что у Жоры «прощальный выпуск» посмотрели двести тысяч человек, и что лучше всего там — момент, где из тёмного шкафа хмыкают.

«Это лучшее, что я видела за год». «Кот гений». «Сторож, ты зачем кота обидел, он тебе ответил». «Ставлю на кота».

Жора три дня не здоровался со мной. Я с ним тоже. Но мы оба знали, кто победил.

Гм.

А банку с братом в ту ночь мне захотелось проверить ещё раз. И ещё. Я сидел у неё до рассвета.

Потому что я знаю, как он туда попал. И Жора про это ничего не знает.

Ефим взял лукошко со стола у Пантелея и пошёл через двор. Ему было восемнадцать лет. Солдатский сын: отец погиб под Полтавой, мать умерла от горячки, мальчика взяли служителем при палатах — мести, топить, носить. Длинный, сутулый, с огромными руками и веснушками даже зимой. Читать почти не умел. Жалел всё, что пищит.

Двор у Кикиных палат был маленький, мощёный, с колодцем посередине. Лаборатория — во флигеле напротив. Пятьдесят шагов.

Там работал препаратор, немец Иоганн Георг, с красным лицом и в кожаном фартуке. Он клал в спирт всё, что приносили. Хорошо клал: банки у него стояли по сто лет и не мутнели. Двухголовый телёнок, над которым я сижу на шкафу, — его работа.

Ефим шёл, и на двадцатом шаге я пискнул.

Я был голодный. Лукошко качалось. Я пискнул тонко и противно, как пищат все котята. Брат не пискнул — он уже не мог.

Ефим остановился у колодца.

Он потом рассказывал этот день так часто, что я помню его наизусть. Всегда одинаково, слово в слово. «Стою я, значит, посреди двора, а он пищит. И я думаю: вот я сейчас отнесу, и немец его в банку. Живого. Он же живых прямо в спирт, им там недолго. И я думаю: а за что?»

А за что.

Он не нашёл ответа. Поднял тряпку. Посмотрел на нас. Брат лежал тихо. Я лез из лукошка.

У Ефима была одна минута и две руки. Он взял одного.

Меня.

Сунул за пазуху, под рубаху, к телу. Я сразу замолчал: там было тепло и пахло человеком — потом, хлебом и печной золой.

А лукошко с братом отнёс Иоганну Георгу. И сказал, что второй сдох по дороге и он его выкинул в Неву.

Немец кивнул. Ему было всё равно. У него на столе лежали в тот день поросёнок о восьми ногах и ягнёнок без глаз.

Так брат попал в банку.

Никто ему лапы не отрезал. Наоборот: их сохранили. Все двенадцать пальцев. Чтобы люди смотрели и понимали, что природа иногда ошибается, и это не страшно и не от чёрта. Это государь так велел.

А по ночам он не скребётся. Он спит.

Это я скребусь. Иногда. Когда никто не видит. По стеклу снаружи. Чтобы он знал, что я тут.

Гм.

# Глава 4. Проверка

Раз в месяц, ночью, без предупреждения, приезжает проверка.

Это человек из охранной фирмы. Его зовут Дмитрий Олегович, ему лет сорок, он ходит в чёрном и с планшетом, и у него лицо человека, который ни разу в жизни не улыбнулся бесплатно. Он приезжает в случайный час, звонит в дверь, и если сторож не открывает через минуту — пишет бумагу. Если сторож открывает заспанный — пишет бумагу. Если в журнале обходов не стоит подпись за последний час — пишет бумагу. Три бумаги — увольнение.

У Василия Андреевича две.

Обе — за сон. Обе — за прошлый год, когда у него болело колено и он пил таблетки, от которых клонит в сон. Колено с тех пор не прошло, таблетки он пьёт те же, а третьей бумаги до сих пор нет.

Потому что есть я.

Я не знаю, как я узнаю, что он едет. Может быть, по звуку: его машина подъезжает к набережной со стороны моста, и мотор у неё тарахтит особым образом, с присвистом. А может быть, я просто чувствую. За триста лет я научился чувствовать, когда к дому подходит неприятность. Нос у меня, что ли, такой.

В ту ночь, на последней неделе, — было без пяти три.

Василий Андреевич спал в сторожке. В кресле. Голова набок, очки на лбу, руки на животе. В телевизоре немцы шли в атаку, а наши их встречали, и звук был тихий, чтобы не мешать. Журнал лежал на столе раскрытый. Последняя подпись — в два ноль пять.

Я сидел на подоконнике в вестибюле. И услышал присвист.

Будить человека — тоже искусство. Плохой кот орёт над ухом. Я не ору: я, как вы помните, вообще не мяукаю. Плохой кот прыгает на грудь. Это неправильно: человек от испуга машет руками и может уронить кота, а заодно и телевизор. Плохой кот лижет лицо. Это противно и долго.

Я делаю иначе.

Ключи. У Василия Андреевича на поясе связка — сорок два ключа, я считал. Когда он садится, связку он кладёт на стол рядом с журналом. Связка тяжёлая. Если её столкнуть со стола на пол — будет грохот, будто уронили ведро с гайками. Но если столкнуть её не на пол, а на колени спящему, — будет грохот плюс прикосновение. От этого человек просыпается сразу и целиком, без размахивания руками. Проверено.

Я прыгнул на стол. Подвинул связку лапой к краю. Ещё. Ещё.

Бух.

Василий Андреевич вскинулся. Очки упали со лба на нос. Он посмотрел на ключи на коленях, потом на меня на столе, потом на часы.

— Мать честная, — сказал он. — Три.

И тут в дверь позвонили.

Он открыл через сорок секунд. Я считал. Бодрый, с ключами в руке, в очках, застёгнутый на все пуговицы. Дмитрий Олегович посмотрел на него, посмотрел на журнал, посмотрел на часы, ничего не нашёл и поскучнел.

— Обход в три пятнадцать, — сказал Василий Андреевич. — Как по графику.

— Угу, — сказал Дмитрий Олегович и что-то отметил в планшете. Не бумагу. Просто отметил.

А потом он увидел меня. Я сидел на столе рядом с журналом. Как бы проверял подписи.

— А это что? — спросил Дмитрий Олегович. — Животное на посту — не положено.

— Это не животное, — сказал Василий Андреевич. — Это Хозяин. Он тут раньше нас с вами был. Его по описи числят.

Это неправда. По описи меня не числят. Вернее, числят, но там всё сложно, я про это потом узнаю. Но Дмитрий Олегович этого не знал. Он посмотрел на меня ещё раз.

Я посмотрел на него.

— Гм, — сказал я.

Дмитрий Олегович моргнул, что-то пробормотал про «развели тут» и уехал. Без бумаги.

Василий Андреевич закрыл за ним дверь, вернулся, сел в кресло и долго смотрел на меня.

— Ты ж мой хороший, — сказал он. — Ты ж мой спаситель. Колбаски?

Колбаски.

Он отрезал. Толсто. Как всегда.

Я съел и ушёл на обход. Это не благодарность, это работа. Сторож должен быть на посту, иначе кто будет сторожить? А если его уволят, пришлют другого Жору. Мне одного хватает.

Гм.

Кстати, про колбасу. Первую еду в своей жизни, не считая материнского молока, я получил тоже от человека. И тоже ночью, тайком.

Ефим сунул меня за пазуху у колодца и так и нёс весь день. Работал — мёл, носил дрова, топил печи — а я сидел у него под рубахой и молчал. Мне там было хорошо. Потом, к вечеру, я проголодался и начал возиться. Ефим испугался: если Пантелей узнает, что второй котёнок жив, обоих в банку — и меня, и, пожалуй, Ефима.

У вдовы-соседки, через забор от палат, была коза. Ефим пошёл к вдове и сказал, что у него болит живот и ему лекарь велел пить козье молоко. Вдова пожалела сироту и налила. Ефим принёс молоко в склянке в каморку под лестницей, где спал, макнул в него тряпочку и сунул мне в рот.

Я сосал тряпочку, как мать.

Так он кормил меня месяц. Каждый день ходил к вдове и врал про живот. Вдова поила его, сироту, молоком и жалела всё больше. Под конец она стала добавлять в склянку мёд и лук от простуды. Лук я не ел. Ефим, говорят, пил сам — чтобы не обидеть.

Меня он держал в коробке за печью в каморке. Днём я спал. Ночью, когда в палатах никого не было, Ефим выпускал меня походить.

Я помню первую ночь, когда я вышел в зал сам, на своих лапах. Мне было полтора месяца. Глаза уже открылись. Ефим поставил меня на пол и сказал: «Ну, иди. Гляди, что тут».

И я пошёл.

Было темно. Пахло спиртом. На полках стояли банки, а в банках лежали такие, как мой брат. Младенцы. Телята. Змеи. Рыбы. Они смотрели на меня выпуклыми глазами сквозь выпуклое стекло.

А я не боялся.

Мне не с чем было сравнивать. Я думал, что мир так и выглядит: полки, банки, и в банках лежат те, кто не успел пискнуть вовремя. А живые — это я и Ефим. Так я думал года два.

Через полгода нас поймали.

Не Пантелей — немец. Иоганн Георг. И не поймали даже, а Ефим сам проговорился. Он заметил, что я не расту. Котята соседской кошки к осени уже ловили мышей и дрались, а я помещался на ладони, как в апреле. Ефим решил, что я больной. Что раз природа ошиблась на лапах, то ошиблась и во всём остальном, и я скоро помру. И пошёл советоваться к единственному человеку в палатах, который понимал в монстрах.

Ефим был добрый, но не очень умный. Он забыл, что немец считает меня утопленным.

— А бывает, — спросил он, — чтобы монстр кошачий не рос?

Иоганн Георг поднял голову от стола и сказал:

— А ты откуда знаешь, что он не растёт? Он же в Неве.

Ефим побелел.

Немец смотрел на него долго. Потом вытер руки о фартук. Сказал по-немецки слово, которое Ефим запомнил на всю жизнь и потом повторял мне, когда сердился. Слово неприличное. Я его не скажу. Потом немец сказал по-русски, с акцентом:

— Неси показывай.

И Ефим принёс.

Иоганн Георг посадил меня на тот самый стол, где резал. Я сидел и шипел — тогда я ещё шипел, это потом я перешёл на «гм». Он меня не трогал. Он смотрел. Мерил ниточкой от носа до хвоста. Взвешивал на весах для лекарств. Считал пальцы. Смотрел зубы. Потом сел на табурет и долго думал.

— Держи у себя, — сказал он наконец. — Пантелею не показывай. Каждый месяц приноси мне. Буду мерить. Помрёт — принеси, положу к брату. Не помрёт — посмотрим.

И он мерил меня каждый месяц два года. Записывал в тетрадку по-немецки, мелко, столбиком.

А весной, когда мне исполнился год, я пошёл в рост. Сразу, за одно лето. Немец сначала не поверил своим ниточкам и перемерил. Потом записал и подчеркнул два раза. А Ефиму сказал:

— Природа его задержала. Как часовщик задерживает маятник. Посмотрим, сколько он будет идти.

Он смотрел восемнадцать лет, пока не умер сам. Ефим рассказывал, что последняя запись в тетрадке была такая: «Восемнадцать лет. Признаков старости нет. Не понимаю».

Вот это я уважаю. Первый учёный, который меня изучал, и единственный, кто честно написал: не понимаю.

Гм.

Я вернулся с обхода в сторожку в половине пятого. Василий Андреевич опять спал. Тихо, без телевизора. Журнал был подписан в три пятнадцать и в четыре.

Я посидел у него на столе, посмотрел, как он дышит. Потом лёг на журнал и уснул тоже. До шести.

В шесть он проснулся сам. Потому что в шесть — обход.

Двенадцать лет, ни разу не пропустил.

# Глава 5. Серёжка

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.